

ТРОЛЛЕЙБУС

1.

— Э то все восьмидесятые годы, — сказал, уныло вздохнув, генерал, и нервно погладил себя по макушке. Он был почти лыс, и лысина эта блестела, прямо как отполированная, в отличие от большинства других, виденных Ивановым в жизни, умеренно матовых, как бильярдный шар. Более того, лысину покрывали редкие пряди волос, переброшенные слева направо. «Внутренний заем» — вот как называли это во времена, которые Иванов, в принципе, еще помнил. Генералу стоило побриться наголо, придало бы мужественности и моложавости. Лысина его явно старила. А ведь он был куда моложе Иванова.

— Согласны, Сергей Алексеевич? — Иванов неопределенно качнул головой: какие там генерал мог помнить восьмидесятые годы! В детском саду, что ли... — Я поясню мысль: тогда разрушилось что-то, что разрушаться было не должно. Какой-то

монолит, какая-то внутренняя связка. Струна лопнула с таким звоном, что и сейчас тошно. Ее бы ослабить, или натянуть, исправилось бы дело, да вот не сумели. Предательства было много. Во всех смыслах: и, так сказать, философском, и прямом. А посмотрите на культуру того времени, которую, честно говоря, так и хочется назвать упаднической, депрессивной... вообще как будто наша планета — ну, ее советская часть — влетела в отравленный пояс. В облако мелких бесов, нацепляла их на себя и летит дальше...

Он сделал паузу.

— Ну и поколение, которое тогда сформировалось. Начало жить — и как?! Говоря откровенно, дрянь на дряни. Я не про вас, конечно, Сергей Алексеевич. Вы ж понимаете. Для них предательство стало чем-то естественным. Ну еще бы, говорят они, при нас столько истин было повержено, столько монолитов размолото, святынь низвергнуто, что куда уж нам самим устоять!

— Ну и что там ваш Шаболинский? — спросил он внезапно. Собственно, чтобы еще раз дать понять: сказанное выше не к Иванову вовсе, а к его подследственному и относится.

— Думаю, начнет сотрудничать. Прямо сегодня — да вот уже сейчас, наверное — придет его адвокат. Жду, что через него предложение последует.

— Сколько докажем?

— Климентьеву, думаю, от десяти миллионов, Серову — может, и от двадцати.

Генерал посмотрел на Иванова снизу вверх. Он, естественно, и не подумал предложить подчиненному садиться. Сверху, через генеральскую голову, на Иванова без какого-либо выражения, смотрел Путин. Сбоку — со своей вечной презрительной полуухмылкой, вполоборота — Дзержинский.

Это был то ли пятый, то ли шестой генерал за годы ивановской работы в управлении. Последний, надеялся он. Закончить с Шаболинским — и хватит.

— А вы присаживайтесь, Сергей Алексеевич, я еще вам хочу кое о чем сказать.

Вот это было уже хуже. Он сел на крайне неудобный стул.

— Я, знаете, когда пришел в Управление и стал знакомиться

с личными делами, прямо удивился вашему. Вы как-то сильно в глаза бросааетесь. Возвышаетесь среди мелкошесья подобно, извините, корабельной сосне. Работаете дольше всех руководителей подразделений. Пережили множество начальников. Имеете огромное количество поощрений, успехов и удач. Я попросил навести дополнительные справки — узнал про вашу собственность, ну, спрятанную вами, но неглубоко, как-то нарочито неглубоко — и удивился еще больше. Оказалось, и «смежники» интересуются вами...

И вот только тут Иванов наконец-то все понял. Заговорил его генерал, усыпил. Мастер. Новое поколение, теперь они, видно, по этой части. А он устарел, конечно. Ну, сука Шаболинский. Не думал, что осмелится.

Все проще простого. И так Иванову стало тоскливо от меченых долларов в портфеле адвоката, который, поди, уж сидит в приемной, от дюжих смежников, готовых к нарочито грубому выламыванию рук с видеофиксацией (напихавших в его кабинет новых, модных приборов, о которых он и понятия не имел). От ждущей его мрачной камеры (а у него ведь клаустрофобия). Всей этой шумихи и позора. И он потерял сознание.

2.

Наверное, на полминуты. Генерал, вероятно, ничего не заметил. А он оказался в каком-то сыром и сером лабиринте, между плохо оштукатуренных, облезших стен старинных зданий без окон. Серое небо звучало им в унисон.

Именно что звучало — непрерывной, тонкой нотой, адским зуммером. Той самой лопнувшей струной.

Издали по мрачной улице приближалось облачко, внутри которого хватался за бока, извивался, прямо ухохатывался представитель выявленной генералом породы мелких бесов. Увы, Иванову он был знаком очень хорошо. И с тех самых восьмидесятых.

Вот в него, Иванова, курсанта, прикрепленного к милицейскому патрулю, с размаха летит финка рецидивиста. Вот его 10 лет спустя вывозят в лес и ставят на колени, интересуясь судьбой

денег, которые он должен был передать, да не передал. Вот еще почти десятилетие спустя на горном серпантине отказывают тормоза его новой машины.

Машина и все прочее, чему удивлялся генерал, тоже оттуда. От него, появляющегося каждый раз — вовремя.

— Ну что, — закричало существо издали — попался? А? Ой умора, вот умора... да не бойся так-то, неприлично даже и — веришь ли — зря! Зря боишься! С тебя саечка за испуг, а ложный вызов будет учтен и зачтен, не сомневайся...

Отсмеявшись, он исчез.

3.

— Ты понял, чем я рискую? — сказал генерал драматическим шепотом, почему-то переходя на ты.

— Так точно, — пробормотал Иванов. Так значит...

— Тогда знаешь, что делать сейчас и что потом.

«Делиться», — думает Иванов, а вслух бормочет: «Разоблачать провокацию, демонстрировать и предъявлять...»

— А что сидишь тогда? Беги! Пять минут у тебя максимум, мать-перемать! Скажи спасибо, что мы с тобой в одном троллейбусе. И не забывай об этом!

Он поднялся со стула и кое-как выполз в коридор. Ну, этого генерала, из новых, ему точно не пережить.

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

1.

Мы все видели, что у Ромки Ярцева на душе большая обида. Он, конечно, не говорил ничего, всегда сохранял мрачноватый такой вид, возился со своим небольшим трактором, не обращая внимание на мазутные пятна, расцветающие на его смуглом мускулистом теле. А, пожалуй, и специально подставлялся под тяжелые, черные капли, это дизельное

мумие, чтобы покрасоваться перед нашими женщинами. Скидывал-то ляжку фирменного комбинезона, обнажаясь по пояс, явно для этого. Да, вел себя как все симпатичные, молодые еще, тридцатилетние красавцы «из простых». Но обида была. И нас со временем это стало смущать.

В то жаркое лето мы видели его особенно часто. Ремонтировали большой насос, подновляли здание администрации нашего поселка, меняли довольно большое количество звеньев ограда. Ну и — как обычно — отвезти-привезти-помочь.

Ромка и домой почти не уходил, разве что уже за полночь, благо, жил он в крайней к нашему поселку избе. Выглядевшей не блестяще, но получше, конечно, чем соседские.

Хоть деревня от города в 10 километрах, а все равно глушь, безработица, да паленая водка. Может, и хуже, что так близко. В город отсюда можно не то что уехать, но и уползти. Вот и уползли, кто мог. Ромка остался чуть ли не единственным парнем — молодым мужиком — работоспособным и вменяемым.

Вот шоссе в город, последний километр, идущее по деревне (участок сделан на наши деньги), вот наше КПП. А слева Ромкина и его матери изба под серым шифером с крашеными бог знает когда окошками. Мог бы и пластиковые окна вставить, конечно, хотя бы из тех, что менял на новые у нас. Мог бы цветным сайдингом (массово убираемым уже и с наших сараев) стены подновить.

Но не хотел. Неинтересно было это ему. Возможно, общаясь с нами, он чувствовал себя частью нашего мира. Понятная, протительная иллюзия. Так было все три года, которые он работал в «Синем лесе». А вот до этого... И правда, где он был до этого? Кто его обидел?

Вопросы не праздные. Люди у нас тут особенные. Враждебных глаз и ушей нам, как говорил наш активист полковник Петренко, «нэ трэба».

Да что тут, я сам видел — солнечный, прямо жарчайший день, хочется укрыться в любой тени или вовсе сбежать под кондиционер. А он ни с того ни с сего остановит свой маленький трактор посередине поселка и сидит, повесив голову. Обижается. И ведь не пьян, хотя, как в этой деревне и положено, родня вся утоплена в алкоголе до отдаленных колен.

Сперва это смущало, потом стало тревожить. Вернее так: мы готовы общаться со всеми. Мы снисходительны, мы добры. Готовы простить многое. Увлечение наших женщин такими, как Рома, тоже. Но всему есть пределы!

2.

Дом у Петренко, может, и не самый роскошный, хотя мы давно перестали делать какие-либо выводы по этому поводу. А вот баня, пожалуй, претендует на роль лучшего сооружения в своем роде. Нравится это дело человеку, так и пусть. На последней неделе августа мы собрались на третьем этаже этого сооружения в так называемой японской зоне. Отделано все тут каким-то необычным камнем, ну и прочая обстановка с национальным колоритом.

Петренко нам сказал:

— Мужики, с понедельника за рулем нашего трактора изменения. Надежный человек, мой прапорщик, выслужил свое — к нам теперь. Обращайтесь. Безотказный дядька.

Помолчали.

Потом полковник довольно эмоционально стукнул ладонью по столу из какого-то черного дерева:

— Ну кто б мог подумать! Как оно все вышло!

Оказывается, Петренко своими силами и по собственной инициативе выяснил, что было у Ромки на душе. Все элементарно, даже слишком. (Я, возможно, был даже разочарован.) Он — всего-то! — не любил наши порядки и ненавидел нас. Считал, что когда-то давно все пошло не туда. Именно тогда, когда появились мы. Или мы и появились потому, что случилось нечто нехорошее.

По словам Петренко, он рассказал Ромке, как скучна, сера, бедна была жизнь его деревни, города рядом, всей страны, а по большому счету и мира в те далекие времена. Серые однотипные здания. Очереди, озлобленные лица, бедные одежды. Фактически голод и нищета. Атмосфера агрессии, разлитой повсюду. Алкоголики на улицах. Шпана в подворотнях. Жалкие потуги местной

богема и чиновничьей аристократии подражать западу. Безнадежность, полный тупик. Вечный ноябрь. Солнечные дни в этот город и в эту страну (в этот мир) принесли мы.

Ромка-то ведь тогда был младенцем. Кто-то ему наговорил и подговорил — подкрадываться к нам. Выжидать до поры. С такими взглядами ему было, конечно, тяжело. И не так он был опасен нам, как мы были опасны ему. Ничего не сделал, может, и не задумывался еще, но мог сделать каждую секунду. Или сам, или по команде откуда-то неотсюда. (Петренко намекнул, что знает больше, но мы не расспрашивали). Поэтому хорошо, что его больше не будет.

Собственно, и изба Ромкина стореда.

3.

А я вот в тот вечер, уже у себя на веранде, задумался. Странно мыслил этот тракторист, какими-то эпохами. Обобщениями. Как в старом учебнике «Новейшая история». Помню такой, с черно-белыми картинками.

Для него все было слишком просто — мир делился на до и после нашего появления. Для любого из нас эти тридцать лет делились на множество микровеков, каждый из которых открывал новую страницу. В каждом проходило такое движение, что мы все могли моментально становиться и трактористами, и полковниками, и миллионерами, и министрами. И белыми, и «черными», и «серыми». И разбойниками, и сыщиками. Наловчились менять участь в течение чуть ли не одной недели.

И мы все были разные. Сам термин «Мы» был неправильным. Разнообразие и конкуренция. Победы и неудачи. Новый мир, чего там.

В общем, это была настоящая жизнь — для нас. А для Ромки — воображаемое. Конструкт его, алкоголика в третьем поколении, сознания. Опасность крылась в самом столкновении Ярцева с вымышленной им реальностью. Сошел бы он с ума, непременно. Маньяк на пылающем тракторе в элитном поселке — написали бы в интернете. Ненужный человек.

— А мать-старушка? — спросил кто-то из нас у Петренко как бы в шутку.

Полковник только сверкнул глазом.

— Матерей-старушек мы не обижаем.

Ответ был неопределенный. Но мы все увидели в нем чистую правду. Правду со всех сторон и во всех возможных вариациях. Нет, их не обижаем. Они ведь все — за нас. Они просто вкусны, как ни странно. Земля полна парадоксов.

ПЕЧАЛЬ

1.

Дети — это такой странный народ, они всё снятся и мерещатся.

С молодой женой жить и хорошо, и плохо. Хорошо: весела, бодрa, оптимистична. Плохо: требует сильно много. Превращается, что неизбежно, из молодой в старую, но не сразу приобретая достоинства старой. Этот-то промежуток — когда уже не бодрa и не весела, но и ума-разума пока не набралась — вот он, да, тяжеловат.

По неизвестной причине две эти мысли пришли в голову Лавкину после того, как наркоз постепенно прекращался и он возвращался в этот, стало быть, мир.

После операции ему пришлось лежать неподвижно почти неделю, и уж тут он надумался всласть. Мысли приходили не поодиночке, а целыми блоками. Пакетами смыслов. Сюжетами, но без сюжетного развития. Это как если бы целый фильм серий в сто вместить в один абзац. Вроде и емко, без дурацких длиннот и рассусоливаний, а вроде и непонятно. Так же, как упомянутые мысли — их тоже можно разворачивать до бесконечности. А вот еще.

Тяжелая болезнь (смерть! смерть! — злорадно поправляет кто-то) — для всех необычное состояние. Даже для профессора биологии. Может быть, именно для него. Для отдельного человека,

даже биолога, в обычное время никакой такой научной биологии в отношении самого себя не существует. Все какие-то туманности и неопределенности. А вот тут точные факты. Тут непреложные истины, которые, возможно философа удивить бы должны — а биологу все ясно. И поэтому он видит яснее прочих: тупик. То есть, общая биология этим тупиком пренебрегает, а вот его, личная, в нем застревает. Это и странно.

Так, довольно благостно, размышлял Лавкин, как раз профессор биологии местного университета.

Пройдя мимо, молодая сестра в халатике, туго обтягивающем огромный, сверху уходящий далеко от нее в горизонтальной плоскости и закругляющийся книзу бюст, посмотрела на него и ничего не сказала. Это была не его медсестра, к другим приставленная, что ей с посторонними говорить. Лавкин, глядя вслед, тут же подумал в обычном «пакетном» стиле, что она в течение ближайших трех лет непременно выйдет замуж и родит ребенка, если уже не сделала это — опять же, в течение последнего трехлетия. И это такая приятная ей и полезная обществу определенность, свойственная только женщинам.

Вскоре его перевели из реанимации в общую палату.

2.

Приходила бывшая жена, смотрела, поджав губы. Говорила будто через силу.

Приходила жена нынешняя, не говорила толком ничего, только улыбалась неопределенно, не смотрела в лицо — ну да это она всегда так, ничего необычного.

А дети и правда снились Лавкину, но не старший сын и не младшая дочь. Это были какие-то другие дети. Ну, может быть, его нерожденные. Кто же знает, каковы они.

Единственный сосед — мелкий бизнесмен лет 60-ти, из бодрячков, спортсменов, что ли — все не мог поверить в случившееся с ним. Почти не разговаривал, только лежал лицом к стене, книжек и то не читал. Звали его соответствующе — Прокопий. Из деревни, конечно. В городе, поди, после пединститута (туда брали

всех) пошел по мелкой партлинии, потом отстриг себе маленький кусок жизни, окормлял его 25 лет, не высовываясь. Женолюб, выпить не дурак. И вот тебе на.

Это тоже была «пакетная» идея Лавкина — возможность видеть прошлое человека по нескольким фразам, внешнему виду, даже имени. Прошлое ведь где-то тут, свернутое, как, например, строительная рулетка. Достанешь — она и развернется во всю длину. Сноровка нужна, конечно.

Глядя на себя со стороны, Лавкин видел полнейшее подтверждение своей идеи. По его лицу, обычаям, манере носить хотя бы и больничный халат, любой мог бы прочесть, что человеком он всегда был удачливым и стабильно благополучным.

И в самом деле. Еще в советском студенчестве, но уже на излете эпохи (и это тоже оказалось важным), он по воле случая занялся описанием мелкого лилового цветка — эндемика, растущего только в ближних горах. Цветок был открыт немецким натуралистом, посетившим Сибирь в начале девятнадцатого века и, по сути, благополучно забыт на 150 лет. (Лавкин взялся за призрак, мелькнувший в старой монографии, из упрямства — хотелось досадить научуруку, навязывающему дурацкие темы). Когда в университет приехала первая зарубежная делегация — три немца, по большей части испуганно оглядывающиеся по сторонам (в Сибирь попали! по доброй воле!), — именно лавкинская работа заинтересовала молодого профессора Шредера. В итоге Лавкин первым из всего университета оказался на стажировке во Франкфурте. Дальше все было еще интереснее — ибо выяснилось, что наиболее близкие родственники заново описанного Лавкиным цветка росли в разного рода экзотических местах. И в Гималаях, и в Кордильерах. Насколько близки были эти родственные связи? Предстояло выяснить.

Собственно, последующие 30 лет Лавкин под присмотром Шредера (благополучно здравствующего и поныне) этим и занимался. Хороши были не столько командировки и в Тибет, и в Перу, и много еще куда (на престижные конгрессы ботаников, например). Хороша была именно стабильность. Конкурентов у Лавкина-Шредера не находилось. Грантовая поддержка, публикации в лучших журналах были обеспечены им до конца дней.

Шредеру это, может, было безразлично, а вот Лавкин в своем заштатном вузе был в числе несомненных героев. Поэтому вопрос о его отъезде поближе к соавтору даже и не вставал — Лавкина устраивало все.

Ну и удивительно ли было, что вот он (а не престарелый Шредер, к примеру) тяжело заболел. И вот-вот помрет — добавлял Лавкин непременно, с какой-то усмешечкой. Может, взглянуть хотел.

3.

Прокопию предстояла новая операция, Лавкину пока ничего такого не говорили. Он продолжал размышлять на разные темы — тренировал мозг. Так, по привычке. Попробовал было читать работы своих аспирантов, но теперь было не до них. Куда большую радость доставляли именно рассуждения.

Он вспоминал восьмидесятые и думал, что тогда можно было все изменить. Остановиться, законсервироваться году на 1988-м. Хорошо бы получилось! Ровно никакой необходимости продолжать не было. Камень с горы еще не катился. Если и была логика, то логика разгульной пирушки. Вот выпил новую рюмку — хорошо. Кажется, надо выпить еще, потом еще, и тогда будет лучше, лучше... В какой-то момент связи разрываются, и делается только хуже. Вот остановиться бы на самой верной точке соответствия выпитого и ощущений в связи с этим! Это было возможно, но ничего не получилось.

Думал, конечно, о смерти. О том, что, если постараться, можно разглядеть на лице тень от занесенного, так сказать, ангельского меча. Выражение, что ли, меняется. В зеркало поэтому Лавкин смотреть разлюбил.

Как-то вполне естественно он стал с ангелом смерти торговаться. Сначала несерьезно, цитатно — «только бы жить, только бы жить, хоть на литейном заводе служить». Потом как-то серьезнее — мол, «забери и ребенка, и друга», а меня оставь. Ну, это вряд ли честная цена.

Потом и она показалась Лавкину приемлемой. Неизвестно до чего бы он дошел, но случилось вот что.

Однажды Лавкин проснулся среди ночи. Сон был невыразительный (это он помнил, но что снилось — забыл сразу же). сосед сидел на кровати, раскачиваясь. В тусклом свете, упорно пролезающем в их палату из коридора сквозь щель под дверью, были видны его очень тощие голые коленки. Прокопий периодически утыкался в них головой, бормоча. С замирающим сердцем, неизвестно для чего, Лавкин стал разбирать его речь. Говорил Прокопий, как ни странно, про козу.

— Манька звали... Хорошая, хорошая была. О, какая хорошая... Манька.... Свели, свели со двора! Ух, свели... В восемьдесят восьмом как раз....

Несколько раз повторив это, Прокопий вдруг повалился на свою кровать, боком, поджав коленки, и уже не бормотал, а скорее хрипел.

Не помня себя Лавкин выскочил за дверь, и замер, прижавшись к ней спиной.

— Что-то случилось? — спросила его дежурная сестра довольно участливо. Пост был в двух шагах.

— Н-нет, — прошептал Лавкин, потом откашлялся. — Я так... в туалет я...

И правда, пошел в туалет. Давая время ангелу смерти, сторговавшемуся с ним на каком-то непонятном пункте, закончить работу. Потом, когда Прокопия унесли, Лавкину стало печально и даже страшно. Страх прошел, а вот печаль, да, осталась.